

Анатолий Федорович Кони

## Николай II

### (Воспоминание)

Перебирая впечатления, оставленные во мне павшим так бесславно Николаем II и, быть может, обреченным на гибель, и воспоминания о его деятельности как человека и царя, я не могу согласиться ни с одним из господствующих о нем мнений.

По одним — это неразвитый, невоспитанный и укрепившийся в безволии человек, соединявший упрямство с привлекательностью в обращении: „un charmeur“\*. По другим — коварный и лживый византиец, признающий только интересы своей семьи и их эгоистически оберегающий, человек недалекий по кругозору, неумный и необразованный.

Большая часть этих определений неверна.

Умно и даже трогательно написанный отказ от престола, почему-то адресованный начальнику штаба, и мои личные беседы с царем убеждают меня в том, что это человек несомненно умный, если только не считать высшим развитием ума разум как способность обнимать всю совокупность явлений и условий, а не развивать только свою мысль в одном исключительном направлении. Можно сказать, что из пяти стадий мыслительной способности человека: инстинкта, рассудка, ума, разума и гения, он обладал лишь средним и, быть может, бессознательно первым. Точно так же он не был ограничен и необразован. Я лично видел у него на письменном столе номер „Вестника Европы“, заложенный посередине разрезкой, а в беседе он проявлял такой интерес к литературе, искусству и даже науке и знакомство с выдающимися в них явлениями, что встречи с ним, как с полковником Романовым, в повседневной жизни могли быть не лишены живого интереса. Если считать безусловное подчинение жене и пребывание под ее немецким башмаком семейным достоинством, то он им, конечно, обладал.

Я помню, как дрогнул от чувства и сдержанных слез его голос, когда, говоря свою речь в 1906 году перед открытием Государственной думы в тронном зале Зимнего дворца, он упомянул о своем сыне. Но поручение надзора за воспитанием ребенка какому-то матросу под наблюдением психопатической жены и отсутствие заботы о воспитании дочерей заставляют сомневаться в серьезном отношении его к обязанностям отца. Представители мнения о его умственной ограниченности любят ссылаться на вышедшую во время первой революции „брошюрку“ „Речи Николая II“, наполненную банальными словами и резолюциями. Но это не доказательство. Мне не раз приходилось слышать его речи по разным случаям. И я с трудом узнавал их потом в печати — до того они были обесцвечены и сокращены, пройдя сквозь своеобразную цензуру. Я помню, как по вступлению на престол он сказал приветственную речь сенату, умную и содержательную. По просьбе министра юстиции Муравьева я передал ему ее по телефону в самых точных выражениях и на другой день совершенно не узнал ее в „Правительственном вестнике“. Мне думается, что искать объяснения многоного, приведшего в конце концов Россию к гибели и позору, надо не в умственных способностях Николая II, а в отсутствии у него сердца, бросающемся в глаза в целом ряде его поступков. Достаточно припомнить посещение им бала французского посольства в ужасный день Ходынки, когда по улицам Москвы развозили пять тысяч изуродованных трупов, погибших от возмутительной по непредусмотрительности организации его „гостеприимства“, и когда посол предлагал отсрочить этот бал.

---

\* очарователь (фр.)

Стоит вспомнить его злобную выходку о „бессмысленных мечтаниях“ перед лицом земств и подтверждение в указе министру внутренних дел особого благоволения земским начальникам в ответ на восторженное отношение к нему и его молодой жене всего населения Петербурга после его вступления на престол, что очень напоминает издание закона о земских начальниках его отцом вслед за восторгом всей России по поводу спасения его семьи от крушения поезда в 1888 году. Достаточно, наконец, вспомнить равнодушное отношение его к поступку генерала Грибского, утопившего в 1900 году в Благовещенске-на-Амуре пять тысяч мирного китайского населения, трупы которых затрудняли пароходное сообщение целый день, по рассказу мне брата знаменитого Верещагина; или равнодушное попустительство еврейских погромов при Плеве; или жестокое отношение к ссылаемым в Сибирь духоборам, где они на севере обрекались как вегетарианцы, на голодную смерть, о чем пламенно писал ему Лев Толстой, лишению которого христианского погребения синодом „взорванный монарх“ не воспрепятствовал, купив одновременно с этим на выставке передвижников репинский портрет Толстого для музея в Михайловском дворце. Нельзя не вспомнить одобрения им гнусных зверств мерзавца — харьковского губернатора И. М. Оболенского при „усмирении“ аграрных беспорядков в 1892 году.

Можно ли, затем, забыть Японскую войну, самонадеянно предпринятую в защиту корыстных захватов, и посылку эскадры Небогатова со „старыми калошами“ на явную гибель, несмотря на мольбы адмирала. И это после почина мирной Гаагской конференции. Можно ли забыть ничем не выраженную скорбь по случаю Цусимы и Мукдена и, наконец, трусливое бегство в Царское Село, сопровождаемое расстрелом безоружного рабочего населения 9 января 1905 г. Этюю же бессердечностью можно объяснить нежелание ставить себя на место других людей и разделение всего мира на „я“ или „мы“ и „они“. Этим объясняются жестокие испытания законному самолюбию и чувству собственного достоинства, наносимые им своим сотрудникам на почве самомнения или даже зависти, которые распространялись даже на членов фамилии, как, например, на великого князя Константина Константиновича. Таковы отношения к Витте, таковы, в особенности, отношения к Столыпину, которому он был обязан столь многим и который для спасения его династии принял на душу тысячи смертных приговоров.

Неоднократно предав Столыпина и поставив его в беззащитное положение по отношению к явным и тайным врагам, „обожаемый монарх“ не нашел возможным быть на похоронах убитого, но зато нашел возможным прекратить дело о попустителях убийцам и сказал, предлагая премьерство Коковцеву: „Надеюсь, что вы меня не будете заслонять, как Столыпин?“ Такими примерами полно его царствование. Восьмидесятилетний Ванновский, взявший на свои трудовые плечи тяжкое дело народного просвещения в смутные годы, после ласкового и любезно встреченного доклада о преобразовании средней школы получил записку о своем увольнении. Обер-прокурор синода Самарин, приехав на другой день после благосклонно принятого доклада в совете министров, прочел записку царя к Горемыкину, в которой стояло: „Я вчера забыл сказать Самарину, что он уволен. Потрудитесь ему сказать это“.

Несчастный Макаров, тщетно просившийся в отставку, получил ее по телеграфу из Ставки, лишь когда затруднялся вопреки закону прекратить дело Манасевича-Мануйлова. Вечером того же дня, когда утром Кауфман-Туркестанский был удостоен лобзаний и приглашения к завтраку за то, что он рассказал об опасностях, грозящих России и династии, он получил увольнение от звания, дававшего ему возможность личных свиданий с государем. Председателям Государственной думы, явившимся с докладом о деятельности этого учреждения, оказывался „высокомилостивый прием“ и вслед за тем Дума распускалась, причем промежутки в ее занятиях становились все длиннее. Предательство распространялось не только на лица, но и на учреждения. Относительно указа 17 октября 1905 г. практиковалось явное нарушение данных обещаний. Государственный совет упорно наполнялся крайними правыми, причем к 1 января 1917 г. был уволен Голубев и призвана шайка прохвостов, нарочно подобранных стараниями Щегловитова. Монарх принял с благодарностью значок „Союза русского народа“ и приказывал

оказывать поддержку клеветническим и грязным изданиям черносотенцев. Наконец, проявлявшие малейшую самостоятельность в пользу прав церкви иерархии Антоний и Владимир подвергались явному неблаговолению, несмотря на услужливость первого по вопросу о существующих мощах старца Серафима и о лишении христианского погребения Толстого.

Наконец — и это очень характерно — когда старый Государственный совет постановил обратить внимание государя на своевременность отмены телесных наказаний, последовал отказ и резолюция: „Я сам знаю, когда это надо сделать!“

Ко всему этому нельзя не признать справедливой характеристику Николая II, сделанную в 1906 году одним из правых членов Государственного совета: „*c'est un lache, et un lacheur*“\*.

Трусость и предательство прошли красной нитью через все его царствование. Когда начинала шуметь буря общественного негодования и народных беспорядков, он начинал уступать поспешно и непоследовательно, с трусливой готовностью, то уполномочивая Комитет министров на реформы, то обещая Совещательную Думу, то создавая Думу Законодательную в течение одного года. Чуждаясь независимых людей, замыкаясь от них в узком семейном кругу, занятом спиритизмом и гаданьями, смотря на своих министров как на простых приказчиков, посвящая некоторые досужие часы стрелянию ворон у памятника Александры Николаевны в Царском Селе, скучно и редко жертвуя из своих личных средств во время народных бедствий, ничего не создавая для просвещения народа, поддерживая церковно-приходские школы и одарив Россию изобилием мощей, он жил, окруженный сетью охраны, под защитой конвоя со звероподобными и наглыми мордами, тратя на это огромные народные деньги. Отсутствие сердечности и взгляд на себя как на провиденциального помазанника божия вызывали в нем приливы горделивой самоуверенности, заставлявшей его ставить в ничто советы и предостережения немногих честных людей, его окружавших или с ним беседовавших, и допустившей его сказать на новогоднем приеме японскому послу за месяц до объявления Японией пагубной для России войны: „*Le Japon finira par me facher*“\*\*. А между тем судьба посыпала ему предостережения, на которые он, даже только как образованный человек, должен был обратить внимание, памятую уроки истории.

Между ними было главное — смутное время 1905-1908 гг., когда первая революция сыграла пролог ко второй, показав во внушительных размерах, чем может грозить русской культуре, единству, справедливости, порядку и человеколюбию „русский бунт — бесмысленный и беспощадный“.

Кровь массы неповинных жертв не возопила перед ним, и, освободившись от ненавистных ему Витте и Столыпина, он с особым тщанием стал выбирать руководителями внутренней политики таких ничтожных людей, как Горемыкин, Штюрмер и, наконец, безличный князь Голицын, давая им в помощь таких министров, как Маклаков, Алексей Хвостов и Протопопов, покупая минутное расположение думы увольнением в отставку неугодных ей министров и дразня ее увольнением вслед за тем таких людей, как Кривошеин, граф Игнатьев, Александр Хвостов (честный человек, несмотря на свои ошибки) и Поливанов. А между тем судьба была к нему благосклонна. Ему, по евангельскому изречению, вина прощалась семьдесят семь раз. В его кровавое царствование народ не раз объединялся вокруг него с любовью и доверием. Он искренно приветствовал его брак с „Гессен-Даршматской“ принцессой, как ее называл на торжественной ектинии протодиакон Исаакиевского собора. Народ простил ему Ходынку; он удивлялся, но не роптал против Японской войны и в начале войны с Германией отнесся к нему с трогательным доверием. Но все это было вменено в ничто, и интересы родины были принесены в жертву позорной вакханалии распутинства и избежанию семейных сцен со стороны властолюбивой истерички. Отсутствие сердца, которое подсказало бы ему, как жестоко и бесчестно привел он Россию на край гибели, сказывается и в том отсутствии чувства собственного достоинства, благодаря которому он среди унижений, надругательства и несчастия

\* это трусость, и (он) трус (фр.)

\*\* Япония кончит тем, что меня рассердит (фр.)

всех близких окружающих продолжает влакить свою жалкую жизнь, не умев погибнуть с честью в защите своих исторических прав или уступить законным требованиям страны. Этим же отсутствием сердца я объясняю и то отсутствие негодования или праведного гнева за судьбы людей и подданных, пострадавших от противозаконных и вредных действий его сатрапов.

Достаточно припомнить безнаказанность виновников Ходынки, связанную с отобранием у графа Палена возложенного на него следствия, на безнаказанность целого ряда негодяев, облеченных званием столичного градоначальника, оставление без последствий бездействия в Москве в 1915 году придворного хама Сумарокова-Эльстона, допустившего грабеж на миллионы рублей. Невольно вспоминаются слова Столыпина: „Да рассердитесь же хоть раз, ваше величество!“

Обращаясь к непосредственным личным воспоминаниям, я должен сказать, что хотя я и был удостаиваем, как принято было писать, „высокомилостивым приемом“, но никогда не выносил я из кабинета русского царя сколько-нибудь удовлетворенного впечатления. Несмотря на любезность и ласковый взгляд газели, чувствовалось, что цена этой приветливости очень небольшая и, главное, неустойчивая. Мне особенно вспоминается представление ему в 1896 году, когда оказалось, что он не знает о завещанных ему Ровинским драгоценных собраниях офортов Рембрандта, несмотря на то что таковые уже целый год как были переданы душеприказчиками в министерство двора. При этом он, предвкушая будущий заговор против меня господ Плеве и Муравьева, выразил сомнение, дадут ли мне возможность мои прямые служебные обязанности читать, как я предполагал, в университете курс судебной этики. В другой раз, в 1898 году, он, со своим Романовым лукавством, упомянув, что читал в газетах о том, что должна состояться моя публичная лекция в зале генерал-прокурорского дома, спросил меня, в чью пользу и о чем я намерен говорить, хотя в газетном известии было с точностью обозначено, что лекция будет в пользу благотворительного общества судебного ведомства о Горбунове. Когда я упомянул о последнем, он тоном недоумевающего порицания спросил меня, что побудило меня избрать такую тему. Я понял, что это — результат глухого недовольства сенаторов на то, что их товарищ выступает публично, выходит на аплодисменты публики и, таким образом, унижает свое высокое звание вместо того, чтобы играть в Английском клубе до утра и платить штрафы. Выслушав, однако, мою ссылку на слова Пушкина: „Мы ленивы и нелюбопытны“, с прибавкою от себя слов „и неблагодарны“, и мое объяснение того значения, которое имеет Горбунов в литературе и искусстве, государь сказал мне, что вполне со мною согласен, и стал восхищаться старинным русским языком у Горбунова. Каждый раз, когда мне приходилось ему представляться и выслушивать его обычный вопрос: „Что вы теперь пишете и что теперь интересного в сенате или Совете?“ — я присоединял к моему ответу, по возможности, яркое и сильное указание на ненормальные явления и безобразия нашей внутренней жизни и законодательства, стараясь вызвать его на дальнейшую беседу или двинуть в этом направлении его мысли. Но глаза газели смотрели на меня ласково, рука, от почерка которой зависело счастье и горе миллионов, автоматично поглаживала и пощипывала бородку, и наступало неловкое молчание, кончаемое каким-нибудь вопросом „из другой оперы“. Мне пришлось его видеть и в тяжкие минуты первой революции в Александровском дворце, вокруг которого веяло отчужденностью и тревогой. После нескольких ласковых вопросов мне о состоянии моего здоровья ввиду предстоящей мне лечебной поездки за границу я попытался заговорить о задачах будущей деятельности Государственного совета и о том, что все успокоится, если только правительство нeliцемерно исполнит обещание, данное государством в Манифесте 17 октября и в речи при открытии I Думы. На этот раз тусклый взгляд непроницаемых глаз сопроводил не прямой ответ: „Да! Это (конечно, подразумевалась смута) везде было. Все государства через это прошли: и Англия, и Франция...“ Я едва удержался, чтобы не сказать: „Но ведь там вашему величеству отрубили голову!“ С тех пор прошло 13 лет, и ни одно из обещаний, данных торжественно, не было осуществлено прямодушно и без задней мысли. И, в сущности, в переносном смысле, глава монарха скатилась на плаху бездействия, безвластия и бесправия.

Наоборот всему, что сказано выше о Николае II, личные встречи с императрицей Александрой Федоровной могли бы оставить во мне чувство известного нравственного удовлетворения за лицо, которому могло предстоять благотельное влияние на монарха. В первый раз мне пришлось ее видеть в качестве члена попечительства в домах трудолюбия, основанных по ее желанию и под ее председательством.

Она живо интересовалась этим делом, и все ее вопросы и замечания были проникнуты большой, хотя и, надо заметить, теоретической обдуманностью. Она, очевидно, старалась держаться в пределах предоставленной ей деятельности и избегала вмешательства в общегосударственные вопросы. Когда по поводу равнодушного отношения Петербургской городской думы к учреждению попечительств о бедных в противоположность Москве я заметил, что и там это дело обязано своим возникновением и развитием энергичной деятельности профессора Герье и может с его кончиной заглохнуть, она спросила меня, в чем кроется причина этого, и я ответил указанием на нелепое городовое положение, в силу которого в Думу допускаются исключительно домовладельцы и промышленники, и, например, я лично — уроженец Петербурга и проживший в нем почти 50 лет — не имею права быть гласным думы, если не выправлю торгового или промыслового свидетельства хотя бы на торговлю спичками. „Но как же этому помочь?“ — спросила она меня. „Madame, — ответил я, — pour choquer cet ordre qui n'est qu'un desordre, il y a un seul remede: la volonte, de votre auguste epoux. Et vous n'avez qu'a lui parler la dessus“\*.

Она быстро прервала разговор на эту тему и почти перебила меня словами: „Est-ce qu'en ete vous habitez ton jours Petersbourg?“\*\*, давая тем понять, что я рекомендую ей нежелательную роль. Но в делах попечительства она держалась самостоятельных взглядов и стояла всегда на разумной и целесообразной стороне. Это было нелегко для нее. Она была застенчива и выражалась с трудом, хотя всегда весьма определенно и решительно, несмотря на то что докладчиком и руководителем в заседаниях был лукавый царедворец Танеев, ставшийся держать ее в бюрократическом застенке, сводя некоторые вопросы к личной чиновничьей конкуренции с честным, но недалеким секретарем императрицы графом Ламздорфом. Этот в душевном отношении „moralisch hohler Mensch“\*\*\* находил себе союзников в некоторых из членов Комитета и иногда в приглашенных министрах. Впервые ей пришлось проявить себя, помимо некоторых назначений и увольнений, шедших вразрез с иерархическими привычками бюрократии, в вопросе об общественных работах в помощь голодающим в 1900-1901 гг.

Вопрос об этой помощи со стороны попечительства был возбужден мною, но встретил категорическое несочувствие членов Комитета, согласившихся с Танеевым, что задача попечительства ограничивается исключительно устройством мертворожденных и бесполезных домов трудолюбия, вместо работных домов с принудительным трудом, и немногочисленных Ольгинских приютов. Я остался при мнении, которое потребовал внести в журнал, вернувшись от императрицы с надписью: „Вполне разделяю мнение сенатора Кони“, и общественные работы были начаты энергически под руководством Галкина-Брасского. И потом неоднократно она умела прислушаться к правдивому голосу вопреки уверений угодливых советников или молчаливых попустителей напрасной траты народных денег, ежегодно ассигнуемых в распоряжение попечительства. Так, несмотря на предварительную обработку ее согласия, она в заседании Комитета согласилась со мной вопреки молчанию всех присутствующих, и в том числе Витте и Сипягина, о совершенной недопустимости уплаты графине Платер-Зиберг огромной суммы за ее фабрику плетеных изделий в Иллуксте под ложным предлогом, что это тоже дом трудолюбия. Так, в другом заседании, где обсуждалась просьба „сестры Варвары“, поддержанная великой княгиней Елизаветой Федоровной и Танеевым, устроившим даже

\* Мадам, чтобы изменить этот порядок, который является только беспорядком, есть единственное средство — воля вашего августейшей, супруги.

И вы должны только поговорить об этом (фр.)

\*\* Вы летом всегда живете в Петербурге? (фр.)

\*\*\* морально пустой человек (нем.)

предварительное совещание, о выдаче ей значительной суммы на устройство кирпичного завода для обучения в трехдневный срок высылаемых из Петербурга бродяг и хулиганов (так называемых Спиридонов-Поворотов), Александра Федоровна, несмотря на молчаливое согласие всех, примкнула к моему отрицательному мнению и положила предел этой скверной затее.

Наконец, она искренно возмутилась, когда после доклада о наградах, полученных разными домами трудолюбия в Петербурге от Комитета Всероссийской промышленной выставки, ей пришлось выслушать положенный мною отчет ревизионной комиссии этого же Комитета, из которого оказалось, что награды выданы за предметы, купленные со стороны или сделанные посторонними мастерами. Указание мое на повторение путешествия Екатерины Великой по Днепру с декоративными селениями вызвало с ее стороны требование, чтобы правлениям этих домов был сделан выговор, и о том было напечатано в „Правительственном вестнике“. Наконец, она сделала крупное пожертвование для учреждения премии за лучшие сочинения и исследования по вопросам трудовой помощи. В каком трудном положении ей приходилось быть, показывает сделанная мною запись о заседании по ходатайству Виленского еврейского общества об учреждении дома трудолюбия, прилагаемая мною к этой тетради (см. в главе VII воспоминаний о крушении)\*.

Нельзя сказать, чтобы внешнее впечатление, производимое ею, было благоприятно. Несмотря на ее чудные волосы, тяжелой короной лежавшие на ее голове, и большие темносиние глаза под длинными ресницами, в ее наружности было что-то холодное и даже отталкивающее. Горделивая поза сменялась неловким подгибанием ног, похожим на книксен при приветствии или прощанье. Лицо при разговоре или усталости покрывалось красными пятнами, руки были мясисты и красны.

Но если мои личные воспоминания о ней, относящиеся к периоду с 1898 до 1904 года, в общем и благоприятны, то я не могу того же сказать о ее деятельности в делах общегосударственных. Уже в конце 90-х годов я слышал от Е. А. Нарышкиной рассказы о ее различных *fails et jestes*\*\*, направленных к укреплению в муже идеи, что он как самодержавец имеет право на все, ничем и никем не стесняемый. Это настроение, по-видимому, усилилось с рождением наследника престола, и когда она пришла, бестактно залитая брильянтами, в тронную залу на объявление нашей куцой конституции, кислое выражение ее по обычаю опущенных углов рта на бледном лице не обещало ничего хорошего, и действительно, затем началось постепенное воздействие на личные назначения, дошедшее до следования указаниям Распутина. Слепо доверявшаяся деланным телеграммам, заказанным „Союзом русского народа“ и таким проходимцем, как Протопопов, и видя в них непреложное доказательство народной любви, она презрительно и высокомерно относилась к просвещенной части русского общества, к Государственной думе и даже к членам своей фамилии, пытавшимся указать ей на надвигавшуюся опасность, не останавливаясь даже перед мстительными жалобами, как, например, против княгини Васильчиковой, высланной затем из Петербурга. Я не имею основания думать, чтобы суеверная, полурелигиозная и полуисповедальная экзальтация, вызвавшая у нее почти обоготворение Распутина, имела характер связи. Быть может, негодяй влиял на ее материнское чувство к сыну разными предсказаниями и гипнотическим воздействием, которое попадало на бессознательную почву нервной возбудимости. Едва ли даже „старец“ имел через нее то влияние на назначения, которое ему приписывалось, так как именно после его убийства ее роковое влияние на дела возросло с особой силой. Деловое влияние Распутина в значительной степени создавалось раболепством и хамскими происками лиц, получавших назначения, причем он являлся лишь ловким исполнителем и отголоском их вожделений. Поэтому в этой сфере вредное влияние императрицы, быть может, было менее, чем его рисовали. Но ей нельзя простить тех властолюбия и горделивой веры в свою непогрешимость, которые она обнаружила,

\* Эта запись в тексте статьи отсутствует.

\*\*проделках, поступках (фр.)

подчиняя себе мысль, волю и необходимую предусмотрительность своего супруга. Она не любила русский народ, признавая в нем хорошим, как мне говорила Нарышкина, лишь монашество и отшельничество; она презирала его и ставила ниже известных ей европейских народов, что особенно резко выразилось в ее разговоре с Е. В. Максимовым по поводу женщин-работниц. Еще более нельзя ей простить и даже понять введение дочерей в круг влияния Распутина, послужившее лет семь назад поводом к выходу в отставку фрейлины Тютчевой. Опубликованные в последнее время письма несчастных девушек к наглому и развратному „старцу“ и их имена на иконе, оказавшейся на шее его трупа, показывают, в какую бездну внутреннего самообмана, ханжества и кликушества и внешнего позора огласки и двусмысленных комментариев повергла своих дочерей „Даршматская принцесса“, ставшая русской царицей и почему-то воображавшая, что ее обожает презираемый ею русский народ...

1917. VI. 27

Павловск